

Владимир Кожедеев

Механик и архив «Д».

Книга 4



Дело имперского Механика. Исторические
детективы. Классические детективы

Владимир Кожедеев

Механик и архив «Д». Книга 4

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Механик и архив «Д». Книга 4 / В. Кожедеев — «Автор»,
2026 — (Дело имперского Механика. Исторические детективы.
Классические детективы)

Осень 1927 года. Архив «Д» — тайная структура, созданная для расследования коррупции и экономического шпионажа, — находится на пике своего могущества. Игнатий Оболенский и его команда только что завершили дело, которое должно было стать венцом их работы: разоблачение князя Долгорукова, теневого архитектора дореволюционной коррупции, чьи нити вели к самому Троцкому. Но победа оказывается горькой. Документы, собранные с таким трудом, становятся оружием в политической борьбе между сталинистами и троцкистами. Самый близкий соратник Оболенского — Лев Штерн — переходит на сторону врага, и Архив «Д» оказывается под ударом. Оболенского арестовывают, бросают в камеру на Лубянке и обвиняют в связях с троцкистской оппозицией. В камере, где стены дышат сыростью и отчаянием, он вспоминает, как всё начиналось — как Долгоруков плел свою паутину, как Троцкий и Сталин боролись за власть, как рушилась старая империя и рождалась новая. Сможет ли Оболенский сохранить правду, рушится на глазах?

Содержание

Часть 2	5
Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Механик и архив «Д». Книга 4

Часть 2

Глава 1

Ночь над Петроградом стояла сырая, промозглая, та самая, когда фонари кажутся не источником света, а жёлтыми пятнами болезни на теле города. С Невы тянуло ледяной сыростью, смешанной с запахом мазута и гниющих свай. Где-то в порту выл гудок — низко, протяжно, как стон раненого зверя. В такую ночь, казалось, даже стены домов сжимались от холода, втягивая свои каменные плечи, чтобы сберечь последнее тепло. Уже третий год в городе царил «военный коммунизм», хотя официально его отменили весной 1921-го, но отголоски той эпохи — карточки на хлеб, бесконечные очереди у булочных и холод в квартирах — ещё не ушли в прошлое. Газета «Петроградская правда» за сегодняшнее утро пестрела заголовками: «НЭП даёт первые плоды!», «Крестьяне сдают хлеб государству», но в очередях, где люди грели руки о жестяные кружки с жидким кипятком, говорили иное. Шептались, что голод на Волге не прекратился, что в Самаре едят лебеду, а в Царицыне — дубовую кору. Слухи ползли по городу, как талый снег по асфальту, смешиваясь с запахом махорки и прелых шинелей.

Игнатий Петрович Оболенский стоял у запотевшего окна своего кабинета на Литейном, глядя на пустынную улицу внизу. Стекло покрылось тонкой плёнкой льда изнутри, и он машинально провёл пальцем, оставляя чёткую, прозрачную дорожку. За ней открылась фигура — одинокий дворник в тулупе, методично скрёбший лопатой замёрзший наст. Жест был механический, бессмысленный в своей повторяемости, и почему-то именно эта картина — человек, сражающийся с мёрзлой землёй, — вдруг показалась ему удивительно точной метафорой того, чем они занимались все эти долгие годы. Они тоже скребли. Только вместо льда было прошлое, а вместо лопаты — человеческие судьбы и пожелтевшие бумаги.

Оболенский было за сорок, но выглядел он старше — время, бессонные ночи и постоянное напряжение оставили на его лице глубокие морщины, особенно заметные на скулах и вокруг глаз. Высокий, худощавый, с тёмными волосами, тронутыми ранней сединой на висках, он держался с той особой, дворянской осанкой, которую не могли стереть ни революция, ни годы работы в сырых архивах. Его глаза — серые, внимательные, с холодным блеском, который появлялся, когда он ловил мысль или улику, — редко выдавали его истинные чувства. Но сейчас, в одиночестве своего кабинета, он позволял себе небольшую слабость: смотреть на ночной город и вспоминать то время, когда улицы Петрограда освещали не редкие, тусклые фонари, а праздничные огни, когда в домах было тепло, а в булочных — хлеб.

За его спиной слышалось тиканье старых настенных часов — единственная вещь, которую он принёс из разорённого родительского имения под Тульской губернией. Когда-то они принадлежали его деду, и каждый их ход казался Оболенскому голосом ушедшего времени, тонкой нитью, связывающей его с миром, которого больше не существовало. Часы отбивали каждую минуту с аккуратной, почти педантичной точностью, напоминая о том, что время неумолимо, даже если ты забываешь о нём в пылу расследования. Оболенский часто ловил себя на том, что смотрит на них, словно пытаясь прочесть скрытое послание в каждом ударе маятника.

— Игнатий Петрович, — раздался голос Штерна у двери.

Лев Маркович Штерн стоял на пороге, держа в руках небольшую деревянную коробку, перевязанную бечёвкой. Ему было под пятьдесят — сухой, поджарый, с острой бородкой кли-

нышком и пенсне на тонкой цепочке, которое он постоянно поправлял нервным движением пальцев. Бывший военврач, человек с железной выдержкой и аналитическим умом, Штерн был тем самым «мозгом» операции, который умел видеть взаимосвязи там, где другие видели хаос. В его облике чувствовалась аккуратность старого медика — даже в самые тяжёлые дни он умудрялся сохранять опрятность, его костюм, хоть и потёртый, всегда был безупречно чист, а руки — длинные, тонкие, с идеально подстриженными ногтями — никогда не дрожали. Сейчас его лицо — всегда собранное, всегда чуть усталое — выражало нечто большее, чем обычное напряжение. На губах блуждала странная смесь торжества и тревоги.

— Принесли? — Оболенский обернулся, отрываясь от созерцания ночного города.

— Только что. Трофимов пытался отдать её через третьи руки, но наши перехватили. — Штерн вошёл в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Там всё, как они и обещали. Копия портфеля, документы, даже несколько фотоплёнок. Игнатий, это не просто уловка. Это ключ.

Оболенский подошёл ближе, провёл ладонью по шершавому дереву коробки. Оно было тёплым — возможно, от рук того, кто её принёс, возможно, от собственного внутреннего напряжения, разливавшегося по телу жаром. Он внимательно осмотрел бечёвку, на которой держался узел: завязана она была особым, «морским» способом, который использовали старые курьеры ещё до революции. Ещё одно подтверждение, что они имели дело не с дилетантами.

— Садись, Лев Маркович. И рассказывай по порядку.

Они сели за стол, заваленный папками с десятками, если не сотнями листов — черновики, показания, схемы, наброски. Зажгли керосиновую лампу, потому что электричество в здании давали с перебоями, и её дрожащий свет падал на лица, делая их похожими на старые фотографии — чуть размытые, с глубокими тенями в глазницах. Штерн начал рассказывать, и его голос, низкий и спокойный, заполнил комнату, вплетаясь в тиканье часов.

Виктор Сергеевич Львов — тот самый «фармацевт», бывший военный топограф, человек с идеальной профессиональной памятью и руками хирурга, — принял условия игры, когда Гуров пригрозил ему химической меткой. Это была не грубая сила, не угроза оружием. Это было то, что психолог назвал бы «чистым шахматным ходом». Угроза была страшнее физической расправы: быть опознанным. Быть прочитанным. Потерять контроль над собственной легендой.

— Я наблюдал за ним во время разговора с Гуровым, — продолжил Штерн, понижая голос. — Он сломался мгновенно. Это был не храбрец. Это был технарь, привыкший к точным расчётам. Когда расчёты рухнули, рухнул и он. Он согласился взять копию портфеля. Всё шло по плану.

Оболенский слушал, но мысли его блуждали между словами Штерна и собственными воспоминаниями о недавнем прошлом. О том, как они сидели здесь же, в этом самом кабинете, за этим же столом, и решали судьбу Ордина. Как солёный чай был их единственным богатством. Как холод в комнате заставлял дышать паром каждое слово. Все эти люди — Ордин, Штольц, Рогозин — были звеньями одной цепи, которую они изо всех сил пытались разорвать. Каждый из них оставлял свой след — и в документах, и в душах тех, кто с ними работал.

— Трофимов, — выдохнул Оболенский, возвращаясь мыслями в настоящий момент.

— Да, — кивнул Штерн. — Владелец фотоателье. Мы взяли его в момент передачи копии. Он думал, что всё чисто. Вокруг стояли его люди, он проверил сигналы — не было ни одного. Только наши ребята работали на полном молчании. Когда к нему подошли, когда он увидел, что выходы перекрыты, его лицо побелело, как бумага, на которой он печатал свои фальшивки. Он попытался отбиваться, кричать, что он просто частное лицо, что у него лицензия... Но мы ему показали материалы, изъятые в ателье. Шифровальные блокноты. Негативы со стратегическими объектами. Он понял, что всё — поезд ушёл.

Оболенский подошёл к столу, где лежали изъятые улики. Шифровальный блокнот был маленьким, в потёртой кожаной обложке, с отпечатками пальцев, оставленными в спешке — вероятно, в тот момент, когда Трофимов понял, что его раскрыли. Негативы были разложены на столе — чёрно-белые, матовые, на них угадывались силуэты мостов, заводских труб, контуры Смольного. Всё это имело ценность для тех, кто готовил диверсию, кто хотел знать уязвимые места города. От них исходил едва уловимый химический запах фиксажа — запах, навсегда связанный в сознании Оболенского с тайной и ложью.

— Он раскололся? — спросил Оболенский, перебирая негативы своими длинными, нервными пальцами. Он сам не заметил, как его голос стал сухим, напряжённым.

— О да, — усмехнулся Штерн, и в этой усмешке прозвучала холодная, почти профессиональная радость охотника, настигшего добычу. — Трофимов — человек тщеславный, привыкший к комфорту, к тому, что его уважают как мастера. Когда мы показали ему фотографии его же ателье из нашего наблюдения, когда сказали, что знаем о его контактах, он сломался. Он начал говорить. Сначала о пустяках, о своей работе, о том, что он всего лишь печатает заказы. Потом — о связном.

— О ком?

— О некоем М.В. — Штерн перевернул страницу своего блокнота, где были записаны показания. — Трофимов не знал его настоящего имени. Тот представлялся как представитель «деловых кругов, заинтересованных в стабилизации российского рынка». Звучит как бред, как прикрытие для шпионажа. Но есть одна деталь.

Оболенский замер. Он уже понял, что Штерн собирается сказать. Подобная информация, даже полученная от такого сомнительного источника, могла подтвердить их самые страшные догадки.

— Говори, — коротко приказал он.

— Трофимов сказал, что М.В. работает в системе ВСНХ. Что он имеет доступ к документам о переговорах с иностранными концессионерами. И что встречи с ним всегда назначались в публичных местах, где можно говорить без опаски — филармония, бани, даже однажды в трамвае, когда они проехали от Лиговского до Невского.

Штерн замолк, давая словам осесть в воздухе. Оболенский медленно опустился на стул, не в силах скрыть охватившего его тяжёлого, липкого чувства.

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства — был создан ещё в 1917 году как главный орган управления промышленностью. К 1922 году, с переходом к НЭПу, его значение выросло колоссально. ВСНХ регулировал все: от распределения сырья до утверждения планов заводов. Именно там принимались решения о том, какие концессии отдать иностранцам, какие заводы закрыть, а какие — модернизировать. И если М.В. действительно работал в этой системе, он мог торпедировать любую операцию, не выходя из своего кабинета. Он мог знать о планах развития промышленности, о том, куда пойдут деньги, кто получит кредиты, а кто — нет. Он был идеальным шпионом, потому что его работа была частью самой государственной машины.

Оболенский вдруг вспомнил вчерашний разговор с Иваном Потапычем, который вернулся с рынка с целым ворохом слухов. Там, среди торговков и спекулянтов, царила своя, особая атмосфера. Шептались, что в Москве готовится новый передел власти, что Ленин болен и уже не встаёт, что Сталин и Троцкий грызутся за место у руля. Говорили, что нэпманы скупают всё, что плохо лежит, что золото уходит за границу, а в банках завелись «бывшие» — те самые, кого они когда-то разоблачали. В этих разговорах, как в зеркале, отражалось то же самое, что они находили в архивах: страх, недоверие и ощущение зыбкости всего, что строилось.

— Значит, «Заказчик» вживляет своих людей в экономическое управление, — тихо произнёс Оболенский, почти про себя. Он уже не смотрел на Штерна. Его взгляд был устремлён куда-то внутрь себя, в ту область сознания, где рождались гипотезы и схемы. — Мы думали,

что имеем дело с шайкой авантюристов, которые пытаются восстановить старые каналы. А они строят новую сеть. Прямо у нас под носом. Ты понимаешь, что это означает, Лев Маркович?

— Я понимаю, — ответил Штерн. Его голос прозвучал глухо. Он перебирал пальцами край стола, и это был единственный признак того, что он тоже испытывает ту же леденящую тревогу. — Если М.В. действительно работает в ВСНХ, то он может торпедировать любую нашу операцию, даже не выходя из своего кабинета. Он может знать о концессиях, о планах развития промышленности, о том, куда пойдут деньги. Он — идеальный шпион, потому что его работа — это часть нашей же государственной машины.

— Нет, — негромко, но твёрдо возразил Оболенский. — Он не шпион. Он — инструмент. Это — продолжение «Диаманта», только в другой одежде. Вместо царской бюрократии — советская. Вместо имперских банков — концессии. А цель та же — сделать страну зависимой. Сделать так, чтобы каждый шаг нашей экономики контролировался извне. И мы должны это остановить.

Оболенский поднялся и подошёл к карте, висевшей на стене. Карта была старая, ещё имперская, с подписями на французском и русском. Но на ней всё ещё были видны контуры той России, которую они знали. Он провёл пальцем по линии от Петрограда к Москве — туда, где заседал ВСНХ, где принимались решения, от которых зависела судьба миллионов. Город, который ещё недавно был центром империи, теперь стал центром новой, странной, противоречивой жизни. В газетах писали о «стабилизации», о «росте производства», но в переулках шептались о том, что «все эти цифры — враньё». И Оболенский знал, что правда, как всегда, находится где-то посередине.

— Мы не можем просто так ударить по ВСНХ, — сказал Штерн, возвращая разговор в деловое русло. — Там связи. Там защита. Любое наше слово против их слова будет воспринято как атака на партийную линию привлечения специалистов. Ты слышал, что говорят в городе? Что Дзержинский курирует новые концессии, что иностранцы приезжают, чтобы скупить заводы по дешёвке. А мы, с нашей ампулой, с нашими показаниями, будем выглядеть как реакционеры, которые пытаются сорвать международное сотрудничество.

— Я понимаю, — Оболенский повернулся к Штерну. Его взгляд был холоден, но в нём чувствовалась та самая решимость, которая двигала им все эти годы. — Поэтому мы не будем бить по ВСНХ. Мы будем бить по «Заказчику». Там, где он не ждёт. Мы поедем в Москву. И мы возьмём с собой всё, что у нас есть. Амбула, показания Трофимова, фотографии — всё. Мы положим это на стол товарищу Ростову. И пусть он решает, как использовать эту информацию.

Штерн хотел что-то сказать, но Оболенский остановил его жестом.

— Ты сомневаешься, — это был не вопрос, а утверждение.

— Я всегда сомневаюсь, Игнатий Петрович. — Штерн тяжело вздохнул. — Но я не вижу другого пути. Если мы оставим это здесь, если мы попытаемся играть в свои игры, не привлекая центр, нас просто сомнут. У них больше ресурсов, больше связей. Они переиграют нас в долгую. Единственный шанс — это политическое решение.

Оболенский снова подошёл к окну. Внизу, в тусклом свете фонаря, он увидел, как две фигуры — мужчина и женщина — остановились, о чём-то заговорили, потом разошлись. Обычная ночная сцена, ничего особенного. Но в ней было что-то такое, что заставило его на мгновение замереть: эти двое были похожи на призраков из прошлого, на те тени, которые они продолжали преследовать.

— Ты знаешь, о чём говорят сегодня на рынках? — вдруг спросил он, не оборачиваясь. — О том, что вчера в Москве арестовали какого-то крупного нэпмана за спекуляцию валютой. И что он дал показания на кого-то из ВСНХ. Совпадение? Может быть. А может, это наш шанс. Если мы приедем в Москву не как просители, а как союзники, у которых есть информация, которая может помочь в этом деле, нас услышат.

Штерн не ответил. Он просто стоял, глядя на своего старого друга и соратника. В этом взгляде, несмотря на всю его профессиональную холодность, промелькнуло что-то человеческое — почти сочувствие. Он знал, что Оболенский отдаёт этой борьбе не только силы, но и частицу себя. Что каждый шаг, каждое решение, каждая новая улика отнимают у него что-то личное, сжигая его изнутри.

— Хорошо, — наконец сказал Штерн. — Тогда готовься к поездке. Завтра утром мы выезжаем. Я хочу, чтобы всё было готово — документы, улики, показания. Если мы поедем, мы должны быть уверены, что наш голос будет услышан. Что нас не просто выслушают, но и поверят.

Оболенский кивнул, не оборачиваясь. Шаги Штерна стихли в коридоре, и он снова остался один.

Он взял со стола ампулу — маленькую, почти невесомую, но таящую в себе силу, способную изменить их судьбу. Пальцы его сомкнулись вокруг стекла, и он почувствовал его холод, проникающий сквозь кожу. «Почерк «Диаманта» ...» — повторил он про себя слова Марии Владимировны. Уникальный, почти художественный, оставленный на этой вещице как подпись убийцы на месте преступления. Теперь эта подпись говорила с ними. И они должны были заставить её заговорить на языке правды.

За окном ветер донёс с Невы запах воды, смешанный с дымом далёких заводских труб. В Петрограде всегда пахло чем-то, что напоминало о прошлом. Оболенский закрыл глаза на мгновение, позволяя этому запаху — холодному, влажному, горькому — войти в лёгкие. Город, который он любил, город, который он спасал, дышал жизнью. Но внутри этой жизни, как всегда, таилась угроза. Сейчас она была скрыта. Но они знали, где её искать.

Он отошёл от окна и вернулся к столу, где лежали коробка Трофимова, ампула и бумаги Штерна. Прошрое, настоящее, будущее — всё это теперь лежало перед ним, сплетённое в один узел, который нужно было развязать, не порвав ни одной нити.

Часы на стене продолжали тикать. Тонко, настойчиво, напоминая ему о том, что время идёт. Что у них нет времени на ошибки.

В газетах на следующее утро уже появится новая порция оптимистичных заголовков, а на рынках снова будут шептаться о том, что «старое возвращается». Но Оболенский знал: старое не возвращается. Оно просто меняет маски. И их задача — срывать эти маски одну за другой, пока не останется ни одной.

Примечания:

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства, созданный в 1917 году для управления промышленностью. К 1922 году, в условиях НЭПа, он стал ключевым органом, регулирующим экономику и взаимодействие с иностранными концессиями.

Исторические факты:

- 1922 год — официальное завершение политики «военного коммунизма» и переход к НЭПу.

- Голод в Поволжье 1921-1922 годов, унёсший жизни миллионов.

- В марте 1922 года ГПУ заменило ВЧК, усиливая борьбу с оппозицией и шпионажем.

- Активное привлечение иностранных специалистов и концессий в рамках НЭПа.

Глава 2

Весна 1923 года выдалась в Ленинграде поздней, скупой на тепло. Нева вскрылась только в конце апреля, и по её мутным водам всё ещё плыли льдины, похожие на обломки разбитого зеркала. На набережных пахло сыростью, прелым деревом и дешёвой махоркой — запахом, который прочно въелся в поры города за последние пять лет. Свинцовое небо низко нависало над крышами, и казалось, что даже воздух здесь, на Васильевском острове, был тяжелее, чем в других частях города, пропитанный историей и тайнами старых особняков.

Газетные киоски пестрели заголовками, выкрикиваемыми мальчишками-разносчиками, чьи голоса тонули в утренней сутолоке. «Пятая годовщина Красной Армии!» — кричал один, размахивая свежим номером «Красной газеты». «НЭП даёт результаты — промышленность растёт!» — вторил ему другой, торгуя «Ленинградской правдой». Но в очередях у булочных, где люди всё ещё стояли с жестяными карточками, говорили о другом. Шептались, что в Москве Ленин уже не появляется на публике, что его болезнь — не просто усталость, а нечто куда более серьёзное. Говорили, что Сталин укрепляет свою власть, назначая своих людей на ключевые посты, а Троцкого методично оттесняют от руководства. Шептались о новом витке репрессий против «бывших», о том, что ГПУ взяло под контроль все концессии, и что иностранцам теперь не так легко работать в России.

На Сенном рынке, куда Иван Потапыч иногда заходил за продуктами, царила своя, особая атмосфера. Торговки, укрытые от ветра рваными платками, переговаривались вполголоса, не отрывая глаз от прохожих. «Слышали? Вчера на Лиговке двух нэпманов взяли, — шептала одна другой, заворачивая в газету кусок сала. — Говорят, валютой торговали. Теперь их в ГПУ повезут, и поминай как звали». — «А ты не знаешь, того, с Невского, который в кожаном пальто ходил? — отвечала вторая, оглядываясь. — Говорят, он ещё с теми, царскими, был связан. Старые дела всплывают. Чекисты теперь за всё берутся». Иван Потапыч слушал эти разговоры с привычной настороженностью, но внутри его, помимо тревоги, росло и другое чувство — чувство, что они на правильном пути. Если в городе всплывают старые дела, значит, их работа не напрасна.

В воздухе висело напряжение, какое всегда бывает перед переменами — теми самыми, о которых пишут в газетах между строк, а на рынках пересказывают шёпотом, оглядываясь на прохожих в кожаных тужурках. Старый мир умирал, но не хотел уходить тихо. Он цеплялся за свои тени, за свои архивы, за свои секреты, и эти секреты теперь искали не только чекисты, но и те, кто мечтал о реставрации былого величия. В одной из ростовщических контор на Малой Морской, как поговаривали, можно было купить любое свидетельство о прошлом — от дворянского звания до членства в подпольной организации, и те, кто стремился скрыть свои грехи, платили за это золотом. «Всё продаётся, — говорили на рынке. — И память, и честь. Всё, кроме правды. Правду никто не покупает — её просто закапывают глубже».

Архив «Д» разместился в бывшем особняке лесопромышленника Третьякова на Васильевском острове — массивном трёхэтажном здании из тёмного кирпича, с лепниной на фасаде, выщербленной временем и пулями гражданской войны. Внутри пахло воском, старой бумагой и едва уловимым запахом кофе — единственной роскошью, которую позволяли себе сотрудники. В коридорах было тихо, лишь изредка слышались шаги архивариусов, да скрип старых половиц, по которым когда-то ходили хозяева, обсуждая цены на лес и пароходы. Кабинет Оболенского находился на втором этаже, в бывшей библиотеке, где ещё сохранились дубовые шкафы с выцветшими корешками книг.

Иван Потапыч, теперь уже не просто старый писарь, а старший архивариус, носился по этим коридорам с неутомимостью, которую трудно было ожидать от человека его возраста. Он похудел, осунулся, под глазами залегли тени, но глаза его горели тем же азартом, что и в дни

работы на Литейном. В его ведении была вся система регистрации, и он ввёл железный порядок, который заставлял даже самых нерадивых сотрудников трепетать. Каждая папка, каждый лист, каждый клочок бумаги имел свой номер, свою опись, своё место на стеллаже. Он самостоятельно проверял условия хранения, следил за температурой и влажностью, словно ухаживал за садом, где вместо цветов росли документы.

— Иван Потапыч, вы бы присели, — иногда говорила ему Мария Владимировна, проходя мимо с папкой в руках. — Вы же весь день на ногах.

— Не могу, Мария Владимировна, — отвечал он, поправляя очки, съехавшие на нос. — Вон, Яков Исаевич новые поступления принёс, надо разобрать, пока плесень не пошла. А эта сырость... — он качал головой, оглядывая высокие потолки. — В этом доме когда-то печи были, а теперь только камины, да и те не топят. Бумаги сохнут плохо. Надо бы у Гурова Петровича попросить какие-нибудь химикаты, чтобы плесень не ела.

Мария Владимировна Фролова, теперь постоянный эксперт-консультант Архива, была женщиной лет сорока пяти, с острым, умным лицом и руками, привыкшими к пробиркам и тиглям. Она носила тёмные платья строгого покроя, без украшений, волосы собирала в тугой пучок на затылке, открывая высокий, гладкий лоб. Её лаборатория, которую она делила с Гуровым, была заставлена колбами и ретортами, пахла щёлочью и сухими травами — она умела определять возраст чернил по запаху, а подделку — по химическому составу бумаги. В 1923 году, когда НЭП только начинал приносить первые плоды, её знания стали особенно востребованы: на рынок хлынули поддельные документы, фальшивые векселя и контрабандные товары, и её экспертиза часто оказывалась решающей.

Как-то раз, разбирая материалы по делу Трофимова, она подошла к Оболенскому с обеспокоенным видом.

— Игнатий Петрович, — сказала она, положив на стол несколько страниц, исписанных мелким, убористым почерком. — Я проанализировала бумагу, на которой написан этот донос на вас. Это не простая канцелярская бумага. Это гербовая бумага старого образца, с водяными знаками, которые использовались в канцелярии Министерства внутренних дел до 1916 года. Такие запасы были у очень ограниченного круга лиц. Кто-то из старой системы до сих пор хранит эти листы и использует их, чтобы фабриковать улики.

Оболенский взял листы, поднёс к свету, разглядывая едва заметные водяные знаки. Он не был специалистом, но он доверял её глазам, её опыту. Ещё одно доказательство того, что «Заказчик» не просто существует — он продолжает действовать, используя старые методы и старые связи. Он поблагодарил Марию Владимировну и отправился к Гурову, чтобы обсудить, как можно использовать эту информацию.

Яков Исаевич Гольдман, худой, сутулый старик с вечно усталыми глазами и счётной линейкой в кармане пиджака, не изменился со времён работы на Литейном. Он всё так же проводил часы над бухгалтерскими книгами, выискивая несоответствия, и всё так же рассказывал байки о железнодорожных аферах позапрошлого века. Теперь, однако, его задача стала сложнее: он анализировал не старые дела, а новую экономическую политику, пытаясь понять, где кончается честный бизнес и начинается та самая коррупция, которую они так старались искоренить. Он был аскетичен в быту, носил старый, но безукоризненно чистый костюм, и даже в самые холодные дни появлялся на работе в накрахмаленной рубашке.

— Яков Исаевич, — обратился к нему однажды Оболенский, когда они обсуждали свежие отчёты о концессиях. — Вы видели эти цифры? Иностранные фирмы получают заказы на ремонт паровозов, но цены в два раза выше рыночных. Это не может быть просто совпадением.

— Конечно, не может, Игнатий Петрович, — ответил Гольдман, поправляя очки. — Но формально всё чисто. Контракты подписаны, печати стоят, подписи есть. Мы можем доказать, что цены завышены, но чтобы доказать умысел, нужны более веские улики. — Он вздохнул, откладывая бумаги. — Помните те вексельные операции, которые мы раскрыли в деле

Штольца? Здесь тот же почерк, только почерк теперь не банкиров, а нэпманов. Те же схемы, те же методы, но новое лицо.

Оболенский слушал его, и в голове его роились мысли. Они перешли на новую ступень, но враг никуда не исчез. Он просто сменил маску. «Но маски можно срывать, — подумал он. — И мы это умеем».

Павел Сергеевич Гуров, которого теперь официально называли «главным специалистом по криминалистической экспертизе Архива», наконец-то получил лабораторию, о которой мечтал долгие годы. Комната в полуподвале, с высокими окнами, выходящими во внутренний двор, была оснащена микроскопами, фотокамерами, наборами реактивов. Здесь пахло спиртом, коллодием и чем-то сладковатым — химическими составами, которые Гуров использовал для проявления невидимых чернил. Он стал ещё более замкнутым и сосредоточенным, почти не выходил из лаборатории, но, когда появлялся на свет, его взгляд за толстыми стёклами очков был по-прежнему острым, всевидящим, бесстрастным. Руки его, длинные и тонкие, никогда не дрожали, даже когда он держал скальпель или пипетку с опасным реактивом.

— Павел Сергеевич, вы не знаете, где Иван Потапыч? — спросил его однажды Оболенский, проходя мимо лаборатории.

— В архиве, — коротко ответил Гуров, не отрываясь от микроскопа. — Он там что-то нашёл. Говорит, важное. Я бы советовал вам зайти.

Оболенский улыбнулся про себя. Гуров был лаконичен, как всегда, но он умел выделять главное. Если он советовал зайти, значит, действительно что-то важное. Он направился в архив, чувствуя, как в груди нарастает странное, почти забытое волнение — то самое, которое появлялось перед разгадкой.

Архивная комната находилась в северном крыле особняка, куда редко заглядывало солнце. Иван Потапыч стоял на коленях у большого деревянного ящика, из которого торчали пожелтевшие папки. Вокруг него, на полу, были разложены документы, какие-то засушенные цветы, обрывки писем. В руках он держал небольшую шкатулку, обитую выцветшим бордовым плюшем, с металлическими уголками, потускневшими от времени.

— Игнатий Петрович! — воскликнул он, увидев Оболенского. — Идите сюда! Я тут такое нашёл!

Оболенский перешагнул через разбросанные бумаги и подошёл ближе. Шкатулка выглядела как старомодная дамская безделушка — такие когда-то хранили на туалетных столиках в дворянских домах, кладя туда письма, фотографии и мелкие драгоценности. Но на ней не было ключа, а замок, вделанный в крышку, был явно не декоративным — сложный механизм из нескольких подвижных пластин и секретного штифта, утопленного глубоко в корпус.

— Где вы это нашли? — спросил Оболенский, принимая шкатулку в руки. Она была лёгкой, почти невесомой, но он чувствовал в ней скрытый вес, словно внутри было что-то, что не хотело быть найденным.

— В этом ящике, — ответил Иван Потапыч, указывая на коробку. — Там были вещи из старого кабинета на Литейном. Я думал, что это мусор, но когда увидел замок, понял, что это не просто безделушка.

Оболенский долго рассматривал шкатулку, поворачивая её в руках, ощущая пальцами холод металла и шершавость выцветшего бархата. Сердце его ёкнуло — он узнал принцип замка. Это была та же система сдвижных пластин и секретного штифта, которую он видел в том самом серебряном «карандаше», найденном у Ярцева. Тогда, несколько лет назад, они нашли его среди вещей убитого князя и поняли, что это не просто украшение, а ключ. Теперь перед ним был не ключ, а контейнер, который требовал такого же уровня мастерства, чтобы быть открытым.

— Иван Потапыч, принесите мне тонкий пинцет и маленькую отвёртку. И скажите Гурову, чтобы он пришёл, — сказал он, садясь за конторку. Голос его был спокоен, но внутри всё дрожало от предчувствия.

Он аккуратно принялся за работу, стараясь не дышать слишком глубоко. Пальцы его, привыкшие к тонкой механике, двигались с хирургической точностью. Он чувствовал, как пластины замка поддаются одна за другой, как скрытый штифт, наконец, освобождает механизм. Тишина в комнате была абсолютной — даже Иван Потапыч затаил дыхание.

Через десять минут крышка со щелчком открылась.

Внутри, на выцветшей бархатной подушке, покоился старый, потёртый ключ. Он был массивным, с длинной бородкой и сложным профилем, который, казалось, повторял контуры какого-то старинного узора. На головке была выгравирована эмблема: двуглавый орёл с опущенными крыльями — не имперский, а какой-то иной, с более узкими, почти хищными очертаниями. Под ним стояли буквы «Р.А.Б.» и номер ячейки, выбитый мелким, почти ювелирным шрифтом: «№ 14-В».

— Р.А.Б., — прочитал вслух Иван Потапыч, прерывая молчание. — Что это может означать?

— Русско-Азиатский Банк, — ответил Оболенский, не отрывая взгляда от ключа. — Один из крупнейших до революции. Его отделения были по всей России — от Петрограда до Владивостока. Но после 1917 года банк был национализирован, его активы конфискованы, а архивы частично уничтожены, частично вывезены за границу бывшими директорами. Этот ключ мог принадлежать кому-то из высших чинов «Диаманта» — возможно, самому Ярцеву, или тому, кто стоял за ним.

В комнату вошёл Гуров. Увидев шкатулку и ключ, он молча подошёл к столу, взял ключ в руки, долго изучал под лупой, поворачивая так и эдак.

— Это Русско-Азиатский Банк, — подтвердил он, наконец. — Но не отделение в Петрограде — они использовали другие шифры, более короткие. Этот номер указывает на отделение, которое было закрыто ещё в 1918 году, в самый разгар гражданской войны. Скорее всего, его архив вывезли в неизвестном направлении. Но если ячейка сохранилась, в ней может быть то, что не нашли ни Штольц, ни Рогозин.

Оболенский задумчиво смотрел на ключ. «Послание из прошлого, — подумал он. — Возможно, оставленное самим Ярцевым — как последняя зацепка, как нить, ведущая к «Заказчику». Или кем-то из его помощников, кто хотел сохранить самую главную тайну «Проекта Диамант» — тайну, которую они искали всё это время.

— Мы не можем просто взять и пойти в банк, — сказал он наконец, вставая из-за конторки. — Это отделение не существует. Мы должны найти его архив. И для этого нам нужны люди, которые знают, как двигались банковские документы после революции. Кто-то из старых служащих, кто помнит, куда вывезли бумаги.

Он посмотрел на Гурова, на Ивана Потапыча, который стоял в стороне, нервно теребя край фартука. В глазах Ивана Потапыча он увидел то же самое — волнение, смешанное с надеждой, которая, казалось, была утрачена навсегда.

— У нас есть время, — сказал Оболенский. — И у нас есть ресурсы. Архив «Д» может заняться этим. Мы найдём эту ячейку, чего бы это ни стоило.

Он знал, что поиски займут недели, возможно, месяцы. Что в этом городе, где каждый второй что-то скрывает, а каждый третий готов продать тайну за кусок хлеба, им придётся пройти через множество ложных следов, обманутых надежд и опасных встреч. Но он также знал, что они не могут остановиться — потому что правда, которую хранит этот ключ, стоит всех затрат.

Вечером, когда все разошлись, Оболенский остался в своём кабинете. За окном уже темнело, и на Васильевском острове зажигались редкие фонари, отбрасывая на мостовую дрожа-

щие жёлтые круги. Он смотрел на ключ, лежащий на столе — он лежал, как живой, отбрасывая длинную тень в свете керосиновой лампы, — и думал о том, сколько ещё таких загадок прячется в тени прошлого. И о том, что эта, возможно, была самой важной из всех, что им встречались.

Он взял в руки блокнот и написал короткое письмо своему старому знакомому в Москву, одному из тех, кто ещё помнил времена, когда Русско-Азиатский Банк был жив и могуществен. Возможно, тот знал что-то, что могло помочь. Письмо было лаконичным и осторожным, как и подобает в такие времена: «Есть вопрос по старому адресу. Нужна консультация. Ответ жду с оказией».

На следующий день в «Ленинградской правде» вышла статья о новых концессиях, о том, как «иностраный капитал помогает восстанавливать экономику». Рядом с ней, на третьей полосе, была заметка о растущем количестве краж из банковских хранилищ, о том, что «преступные элементы пользуются переходным периодом для наживы». Оболенский читал эти строки и видел между ними другую историю — ту, которую не печатали в газетах. Историю о том, как старые волки возвращаются на свои тропы, и как им готовят новую ловушку.

Часы на стене тикали — те самые, из родового имения. Оболенский взял ключ в руки, сжал его в ладони, чувствуя холод металла, проникающий сквозь кожу. «Мы найдём тебя, — мысленно сказал он невидимому врагу. — Найдём, чего бы это ни стоило».

Он знал, что эта охота будет долгой. Но у него теперь была команда, были ресурсы, и главное — была вера в то, что правда, какой бы горькой она ни была, имеет значение. И эта правда была где-то там, в глубине архивов, в тайных банковских ячейках, в памяти старых людей, которые ещё помнили, как выглядел мир до того, как он рухнул.

За окном ветер донёс запах Невы — холодный, влажный, пахнувший свободой. Оболенский закрыл глаза и позволил себе на мгновение поверить, что эта свобода когда-нибудь станет настоящей. Что они смогут построить новый мир, в котором не будет места старым играм, старым долгам и старым предательствам.

Но когда он снова открыл глаза, в комнате было всё так же тихо, и только тени от лампы дрожали на стенах, напоминая ему о том, что ночь ещё далека от завершения. И что их работа только начинается.

Примечания:

Архив «Д» — вымышленная структура, созданная для систематизации материалов о коррупции и экономическом шпионаже.

Русско-Азиатский Банк (Р.А.Б.) — реально существовавший банк (основан в 1910 году), один из крупнейших в дореволюционной России, национализированный после 1917 года. Его отделения действительно существовали по всей стране, а архивы были частично утрачены.

Исторический контекст 1923 года:

- Активное развитие НЭПа, привлечение иностранного капитала в форме концессий.
- Обострение борьбы внутри партии после болезни Ленина (весной 1923 года состояние здоровья вождя резко ухудшилось, он фактически отошёл от дел).
- Усиление роли ГПУ в экономических вопросах и контроль над «бывшими» специалистами.
- Рост спекуляции и чёрного рынка в условиях новой экономической политики.

Глава 3

Весна в Ленинграде выдалась тревожной. Не та тревога, что сжимает горло в предчувствии беды, а та, глухая, тягучая, что оседает на душе липким осадком, как туман над Невой — не рассеивается, не уходит, только меняет плотность, становясь то прозрачнее, то непроницаемее. Город жил своей жизнью: на Невском гремели трамваи, в очередях у булочных всё так же стояли люди с жестяными карточками, а из открытых окон доходных домов доносились обрывки патефонных пластинок — романсы, танго, что-то забытое, старое, из той жизни, которой больше не было. Но в воздухе, в самом его движении, в том, как люди оглядывались на прохожих в кожаных тужурках, чувствовалось нечто новое — напряжение, которое не выливалось в крики или скандалы, а пряталось глубоко внутри, в каждом взгляде, в каждом полупшепоте.

Игнатий Петрович Оболенский стоял у окна своего кабинета на Васильевском острове и смотрел, как туман медленно поднимается с Невы, обволакивая мосты и набережные призрачной, молочной пеленой. За его спиной тикали дедовские часы — единственная вещь, которая связывала его с тем миром, где у часов был смысл, где время текло ровно и предсказуемо. Теперь же время казалось ему зыбким, обманчивым, словно само течение его подчинялось чьей-то невидимой воле.

Он думал о том, как много изменилось за последние годы. О том, как они начинали — с холодного кабинета на Литейном, с папок, пропахших сыростью и махоркой, с той отчаянной веры, что правда имеет значение. Теперь у них был Архив «Д», были ресурсы, было признание. Но вместе с этим признанием пришла и новая ответственность — и новые враги, которые, казалось, становились только сильнее и изощреннее.

Дверь кабинета приоткрылась, и вошёл Иван Потапыч — с подносом в руках, на котором дымились две кружки с жидким, бледным чаем. В его движениях чувствовалась привычная суетливость, но в глазах, за толстыми стёклами очков, читалось напряжение, которого раньше не было.

— Игнатий Петрович, — сказал он, ставя поднос на стол. — Яков Исаевич просил передать, что у него есть для вас кое-что важное. Он сейчас придёт.

Оболенский кивнул, не оборачиваясь. Он знал, что Гольдман не стал бы беспокоить его без серьёзной причины. За последние месяцы они привыкли к тому, что Гольдман проводит дни в архивах, перебирая старые счета, выписки, переписку, выискивая те нити, которые могли бы привести их к «Заказчику». И если он что-то нашёл, это действительно могло быть важно.

Через несколько минут в кабинет вошёл Яков Исаевич. Он был бледнее обычного — его лицо, всегда землистое от недосыпа и вечной усталости, сейчас казалось почти серым. В руках он держал потёртую папку, перевязанную бечёвкой, и, когда он клал её на стол, пальцы его слегка дрожали.

— Игнатий Петрович, — сказал он, садясь напротив. — Я нашёл это в старых архивах Госбанка. Там, в подвальных помещениях, куда никто не заглядывал годами. Это письма. Переписка между директорами Русско-Азиатского Банка и их корреспондентами в Стокгольме. И там есть кое-что, что вас заинтересует.

Оболенский взял папку, развязал бечёвку. Внутри лежали пожелтевшие листы — некоторые были настолько ветхими, что рассыпались бы от неосторожного прикосновения. Он аккуратно перебирал их, вглядываясь в выцветшие строки.

— Вот это, — сказал Гольдман, указывая на одно из писем. — Обратите внимание на приписку в конце.

Оболенский прочитал письмо. Это был сухой, деловой документ — речь шла о переводе средств через нейтральную Швецию, о гарантиях сохранности капиталов. Но в самом конце,

мелким, почти неразборчивым почерком, стояла приписка: «Особые ячейки для доверенных лиц сохранены. Жду подтверждения. Стокгольм, банк «Кредит-Анштальт», ячейка № 14-В».

Сердце Оболенского ёкнуло. Ячейка № 14-В — тот самый номер, который был выгравирован на ключе, найденном в шкатулке. Значит, это не случайность. Значит, ключ действительно ведёт к чему-то важному.

— Вы понимаете, что это значит? — спросил Гольдман, поправляя очки. — Если эта ячейка сохранилась, если её не вскрыли при национализации, то в ней могут быть документы, которые мы искали всё это время. Финансовые записи, имена, схемы. Всё, что не смогли уничтожить или вывезти.

Оболенский долго молчал, глядя на письмо. Он чувствовал, как в груди нарастает то самое, почти забытое волнение — волнение охотника, который наконец-то напал на след.

— Кто автор этого письма? — спросил он.

— Директор Русско-Азиатского Банка, — ответил Гольдман. — Некий Аркадий Петрович Струве. Он эмигрировал в Швецию ещё в 1918 году и, по слухам, до сих пор живёт в Стокгольме. Но есть и другое имя — барон фон Шёберг, шведский банкир, который помогал Струве вывозить капиталы. Если кто и знает о судьбе этих ячеек, то это он.

В дверь постучали, и в кабинет вошёл Иван Потапыч, который, несмотря на занятость, всегда умудрялся быть в курсе всех новостей.

— Игнатий Петрович, — сказал он, понижая голос, — у меня есть для вас новости. Только что я разговаривал со своим знакомым из Особого отдела. Он сказал, что в городе появились люди, которые интересуются старыми банковскими делами. И не просто интересуются — они готовы платить большие деньги за информацию. За старые счета, за архивы, за любые документы, связанные с Русско-Азиатским Банком.

Оболенский поднял глаза. Взгляд его стал жёстче, холоднее.

— Кто эти люди?

— Неизвестно. Мой знакомый сказал, что они называют себя «представителями деловых кругов», но на самом деле это прикрытие. Говорят, они связаны с эмигрантскими структурами. И они уже напали на след того самого архива, который мы ищем.

В комнате повисла тишина. Оболенский смотрел на письмо, на ключ, на потёртую папку — всё это были куски одной головоломки, которая, казалось, становилась всё сложнее и опаснее.

— Значит, мы не одни, — наконец сказал он. — Кто-то ещё знает о ячейках. И этот кто-то готов платить за информацию. Нам нужно опередить их.

— Но как? — спросил Гольдман. — Мы не можем просто отправиться в Стокгольм. У нас нет никаких легальных каналов связи с Швецией. Даже письмо может быть перехвачено.

— Мы будем действовать через «Попечителя», — ответил Оболенский. — Он оставил нам контакты. Мы передадим сообщение через Елену Викторовну. Если он ещё жив, если его сеть ещё работает, он сможет связаться с бароном фон Шёбергом.

Он взял перо и лист бумаги, но прежде чем начать писать, задержался на мгновение, глядя в окно. Туман за окном начал медленно рассеиваться, открывая очертания города — серые крыши, трубы, шпили соборов. Ленинград просыпался, и в этом пробуждении было что-то тревожное, как в предчувствии бури.

Он написал короткое, осторожное письмо, тщательно подбирая слова, стараясь не оставить следов, которые могли бы выдать их планы. В конце он поставил подпись — не свою, а ту, которую они использовали в переписке с «Попечителем»: «Архивариус».

Прошла неделя. Неделя напряжённого ожидания, когда каждый шорох за дверью казался шагом врага, а каждый звонок — сигналом опасности. Город жил своей обычной жизнью: газеты писали о концессиях и новом курсе, на рынках торговали картошкой и махоркой, а в

очередях обсуждали слухи о том, что «старое возвращается». Но в Архиве «Д» царила тишина — та особенная тишина, когда каждый сотрудник понимает, что они стоят на пороге чего-то важного.

И вот, на восьмой день, пришёл ответ.

Посылка была оформлена как «книги в дар от Союза шведско-советской дружбы» — обычная коробка, перевязанная бечёвкой, с печатью таможни и наклейками почтового ведомства. Её принёс курьер из Госбанка, и она прошла все стандартные проверки, не вызвав никаких подозрений.

Оболенский вскрыл коробку в своём кабинете, в присутствии Гурова и Ивана Потапыча. Внутри лежали несколько томов — скучные статистические отчёты по лесной промышленности Швеции. Но под ними, завёрнутая в мягкую фланель, лежала маленькая коробочка — футляр для очков.

— Откройте, — сказал Гуров, и в голосе его впервые за долгое время послышалось нетерпение.

Оболенский открыл футляр. Внутри, аккуратно сложенная, лежала записка на тонкой, почти прозрачной бумаге — такой, что использовалась для секретной переписки в довоенные годы. Рядом с ней лежали несколько микроскопических фотографий, сделанных на тончайшей плёнке, почти невесомых на ощупь.

Почерк был узнаваем — тот самый, убористый, с резкими наклонами и характерным росчерком в конце строки, который они знали по тетрадам Штольца и по последним посланиям «Попечителя».

Оболенский развернул записку. Текст был коротким, но каждое слово в нём весило целое состояние:

«Ячейка вскрыта. Содержимое: три банковских пакета с акциями довоенных российских предприятий (ныне бесполезны) и одна папка с пометкой «Личное дело. К.Д.». Папка изъята и переправляется с оказией в Петроград. Осторожно: за папкой охотятся. Она — ключ к человеку, который знает всё. — П.»

Оболенский перечитал записку дважды. Слова «К.Д.» выделялись на фоне остального текста, словно были написаны не просто чернилами, а чем-то более тёмным, более весомым — как завещание, как судьба.

— «К.Д.», — прочитал вслух Гуров, рассматривая записку через лупу. — «Казначей Двора»? Или что-то другое?

— Я знаю одного человека, — ответил Оболенский, кладя записку на стол и прижимая её ладонью, словно боясь, что она может исчезнуть. — Его звали князь Григорий Долгоруков. Он был казначеем при дворе, ведал всеми тайными счетами императорской семьи. После революции он бежал за границу, но в 1922 году вернулся — по приглашению правительства. Вернулся как «ценный специалист», как человек, который должен помочь восстановить промышленность. Он сейчас в Москве. И он, если я не ошибаюсь, консультирует ВСНХ по вопросам внешней торговли.

В комнате повисла тишина — та особая тишина, которая наступает после того, как произнесены слова, слишком страшные, чтобы их можно было принять сразу. Гуров медленно опустился на стул, словно слова Оболенского лишили его сил. Иван Потапыч стоял у двери, нервно перебирая край фартука, и его лицо, всегда такое спокойное, сейчас было бледнее обычного.

— Вы хотите сказать, — наконец произнёс Гуров, и голос его звучал хрипло, — что человек, который руководил «Диамантом», сейчас сидит в Москве и даёт советы нашему правительству? Что он, фактически, стоит у руля экономики?

— Не руководил, — поправил Оболенский, и в голосе его послышалась та стальная твёрдость, которая появлялась в самые опасные моменты. — Он был казначеем. Он знал все финансовые потоки, все тайные счета, все переводы. Если кто и знает, куда ушли деньги «Диаманта»

и кому они предназначались, то это он. И если его досье попало к нам, мы можем использовать это как доказательство — как ключ к тому, чтобы остановить его.

Иван Потапыч, стоявший у двери, шагнул вперёд. Его голос дрожал, но в нём чувствовалась решимость человека, который понимает, что они стоят на пороге величайшего открытия своей жизни.

— Игнатий Петрович, — сказал он, — но если за этим досье охотятся, если оно кому-то нужно... значит, мы не одни. Значит, кто-то ещё знает о его существовании. И этот кто-то может прийти за ним — прямо сюда, к нам. Мы должны быть готовы.

— Я знаю, Иван Потапыч, — ответил Оболенский, поднимаясь из-за стола. — Поэтому мы должны получить его первыми. Мы должны перехватить эту папку до того, как она попадёт в чужие руки. И когда она будет у нас, мы узнаем имя. И тогда мы сможем действовать.

Он подошёл к окну. Туман почти рассеялся, и в комнату проник первый солнечный свет, упав на стол, на открытую записку, на старые книги, освещая пылинки, танцующие в воздухе. Оболенский смотрел на этот свет и думал о том, что, возможно, это — знак. Знак того, что они на правильном пути. Что правда, какой бы горькой она ни была, наконец-то начинает проступать сквозь толщу лет.

Но в душе он понимал, что это только начало. Что папка — это не конец, а лишь новый, более опасный поворот в их бесконечной охоте за правдой. И что, возможно, некоторые имена лучше не знать — потому что они могут разрушить всё, во что они верили.

Гуров подошёл к нему и встал рядом, глядя в окно.

— Ты боишься? — спросил он тихо. — Боишься того, что мы можем узнать?

Оболенский не ответил сразу. Он смотрел на Неву, на баржи, медленно ползущие по серой воде, и думал о том, сколько ещё таких тайн скрыто в прошлом.

— Я боюсь, — наконец сказал он. — Но я боюсь не того, что мы узнаем. Я боюсь того, что мы не узнаем никогда. Что правда останется там, в тени, и мы так и не сможем её увидеть. Но мы сделаем всё, чтобы этого не случилось. Мы найдём её, чего бы это ни стоило.

В Стокгольме, на Гамла Стан, в старом здании с облупившейся штукатуркой, за дубовым столом сидел человек с седой головой и орлиным носом. Перед ним лежала папка с пометкой «Личное дело. К.Д.» — та самая, которую он только что извлёк из банковской ячейки. Он перелистывал её страницы, и на его губах играла едва заметная, холодная усмешка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.